

Н. Долинина

Бородино

Описание Бородинской битвы занимает двадцать глав третьего тома «Войны и мира». Это — центр романа, его кульминация; решающий момент в жизни всей страны и многих героев книги. Здесь скрестятся все пути: Пьер встретит Долохова, князь Андрей — Анатоля; здесь каждый характер раскроется по-новому, и здесь впервые появится громадная сила: народ, мужики в белых рубахах, — сила, выигравшая войну.

Но, верный своему методу, Толстой не станет описывать войну от себя, смотреть на нее своими глазами. Он выберет самого, казалось бы, непригодного для этой цели героя, ничего не понимающего в военном деле Пьера — и его непредубежденным взглядом заставит нас смотреть на великое сражение при Бородине.

Чувства, овладевшие Пьером в первые недели войны, станут началом его нравственного перерождения, но Пьер еще не знает об этом. «Чем хуже было положение всяких дел, и в особенности его дел, тем Пьеру было приятнее...» Он впервые ощутил себя не одиноким, никому не нужным обладателем богатства, но частью единого множества людей. Решив ехать из Москвы к месту сражения, Пьер испытал «приятное чувство сознания того, что все то, что составляет счастье людей, удобства жизни, богатство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем-то...»

Это чувство естественно рождается у честного человека, когда над ним нависает общая беда его народа. Пьер не знает, что то же самое скоро испытает Наташа, что князь Андрей в горящем Смоленске и разрушенных Лысых Горах ощутил то же; что многие тысячи людей разделяют эти новые для него чувства.

Утром 25 августа Пьер выехал из Можайска и приближался к расположению русских войск. Уже встречались ему многочисленные телеги с ранеными, и один старый солдат спросил: «Что ж, землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы?»

В этом безнадежном вопросе вовсе не только безнадежность; в нем то же чувство, владеющее Пьером: самая жизнь сейчас не так важна, как главное: доколе же отступать?

И еще один солдат, встретившись Пьеру, сказал с грустной улыбкой: «Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят... Нынче не разбирают... Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один конец сделать хотят». А знакомый Пьеру доктор спокойно подсчитывает: «Завтра сражение: на сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо...»

Если бы Толстой показал день накануне Бородинской битвы глазами князя Андрея или Николая Ростова, мы не могли бы увидеть этих раненых, услышать их голоса, ужаснуться трезвым подсчетам доктора. Ни князь Андрей, ни Николай не заметили бы всего этого: они оба — профессиональные военные, привыкшие и к потерям, и к голосам солдат. Но Пьеру все внове, его неискушенное зрение остро; глядя вместе с ним, мы начинаем понимать и его, и тех, с кем он встречается под Можайском: «удобства жизни, богатство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем-то...»

И вместе с тем все эти люди, каждый из которых может завтра быть убит или изувечен, — все они сегодня живут, не думая о том, что их ждет: с удивлением смотрят на белую шляпу и зеленый фрак Пьера, и смеются, и поют, и подмигивают раненым...

«Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков-ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали направо от дороги, на огромном кургане, обросшем травой... Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужи-

ков... подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты».

Название поля и деревни рядом с ним еще не вошло в историю: офицер, к которому обратился Пьер, еще путает его: «Бурдино или как?» — другой поправляет: «Бородино». Но на лицах всех встреченных Пьером людей — общее «выражение сознания торжественности наступающей минуты», и сознание это так серьезно, что во время молебна даже присутствие Кутузова со свитой не привлекло внимания: «ополченцы и солдаты, не глядя на него, продолжали молиться».

«В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице» — таков Кутузов перед Бородиным. Опустившись на колени перед иконой, он потом «долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости». Эта многократно подчеркнутая Толстым физическая немощность главнокомандующего только усиливает впечатление духовной мощи, исходящей от него. Сегодня, перед сражением, он преклоняет колени перед иконой — так же, как люди, которых он завтра пошлет в бой; так же, как солдаты, он чувствует торжественность настоящей минуты.

Но Толстой не дает нам забыть, что есть и другие люди. Они знают свое: «за завтрашний день должны... быть розданы большие награды и выдвинуты вперед новые люди». Первый среди этих ловцов наград и выдвижений, конечно, Борис Друбецкой в длинном сюртуке и с плетью через плечо, «как у Кутузова». Казалось бы, Борис уже ничем не может нас удивить, и все-таки светская любезность его тона поражает: «Милости прошу у меня ночевать, и партию составим», — как будто он встретил Пьера в Английском клубе, как будто завтра не решается судьба России!

С легкой, свободной улыбкой он сначала, доверительно понизив голос, ругает Пьеру левый фланг и осуждает Кутузова, потом, заметив приближающегося адъютанта Кутузова, хвалит и левый фланг, и главнокомандующего. И ведь он с этим своим талантом всем понравиться «сумел удержаться при главной квартире», когда Кутузов выгнал многих ему подобных, Вот и сейчас он ловко находит слова, которые могут быть приятны главнокомандующему, и говорит их Пьеру, рассчитывая, что Кутузов услышит:

«— Ополченцы — те прямо надели чистые, белые рубахи, чтобы приготовиться к смерти. Какое геройство, граф!»

Он рассчитал правильно: Кутузов услышал эти слова, запомнил их — и с ними Друбецкого. Но Пьера все это не может обмануть. Он уже не тот двадцатилетний мальчик, с которым Борис так легко справился в задней комнате безуховского дома. Пьер ничего не понимает в позициях и флангах, не умеет даже отличить наши войска от французских, но людей он теперь знает, и не Борису его провести.

Пьер видит на лицах штабных офицеров оживление, но он понимает, что «причина возбуждения, выразившегося на некоторых из этих лиц, лежала больше в вопросах личного успеха, и у него не выходило из головы то другое выражение возбуждения, которое он видел на других лицах и которое говорило о вопросах не личных, а общих, вопросах жизни и смерти».

Но и его, и нас ждет неожиданная радость — перед Кутузовым появляется Долохов. «Ежели вашей светлости понадобится человек, который бы не жалел своей шкуры, то извольте вспомнить обо мне...» — грубовато говорит Долохов. Он опять разжалован, и офицеры знают, что «ему выскочить надо», но невольно восхищаются им: «Какие-то проекты подавал и в цепь неприятельскую ночью лазил... но молодец!»

Невозможно представить заранее, что сделает Долохов, увидев Пьера, с которым он расстался так давно, в Сокольниках, когда его, раненого, увозили после дуэли. Невозможно поверить, что Долохов может извиниться перед кем бы то ни было, просить прощения, но он делает это.

«— Очень рад встретить вас здесь, граф, — сказал он ему громко и не стесняясь присутствием посторонних, с особенной решительностью и торжественностью. — Накануне дня, в который бог знает кому из нас суждено остаться в живых, я рад случаю сказать вам, что я жалею о тех недоразумениях, которые были между нами, и желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас простить меня».

Этот злой, жестокий, беспощадный человек, оказывается, честен. В день накануне Бородина люди разделяются просто: на честных и бесчестных, и Долохов — с Пьером и ополченцами, с Кутузовым и князем Андреем.

Пьер и сам не мог бы объяснить, зачем он поехал на Бородинское поле. Он знал только, что невозможно оставаться в Москве, что нужно ехать. Он хотел видеть своими глазами то непонятное ему и величественное, что должно было решить его судьбу и судьбу России. Но в его решении была еще одна причина: он должен был увидеть князя Андрея, который мог объяснить ему происходящее. Только ему мог поверить Пьер, только от него ждал в этот переломный момент своей жизни каких-то важных, решающих слов.

И вот они встречаются. Князь Андрей холоден, почти враждебен — Пьер невольно, одним своим видом напоминает ему о прежней жизни, о Наташе, а князь Андрей не хочет сейчас помнить об этом. Все, что он говорит, звучит злобно, как звучали в последнее время почти все слова его отца. Но, разговорившись, князь Андрей невольно совершает то, чего ждал от него Пьер, — объясняет положение дел в армии. Как и все солдаты, как большинство офицеров, он считает величайшим благом отстранение Барклая и назначение Кутузова: «Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек».

Через двадцать три года Пушкин напишет о Барклае де Толли стихотворение «Полководец»; читая его, мы поймем трагедию полководца, непонятого и нелюбимого армией, отстраненного от командования:

Народ, таинственно спасаемый тобою,
Смеялся над твоей священной сединою... —

так увидит Барклая Пушкин — после победы над Наполеоном.

Толстой показывает, что думали и чувствовали люди в разгар войны, когда войска Наполеона неотвратимо приближались к Москве. Князь Андрей понимает, что Барклай не изменник, что он честный военный человек, и не его вина, если армия и народ верят Кутузову, а не ему. После Аустерлица князь Андрей уже не может верить распоряжениям штабов, он говорит Пьеру: «Поверь мне... ежели бы что зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я имею честь служить здесь, в полку, вот с этими господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них...»

Кутузов для князя Андрея — человек, который понимает, что успех войны зависит «от того чувства, которое есть во мне, в нем, — он указал на Тимохина, — в каждом солдате».

После этого разговора «тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным... Он понял ту скрытую... теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти».

Но и для князя Андрея разговор с Пьером был важен. Как это часто бывает, высказывая свои мысли другу, он сам яснее понял то, о чем в одиночестве думал сбивчиво — и, может быть, ему стало жаль своей жизни, своей дружбы с этим громадным нелепым Пьером, чья судьба тоже должна решиться завтра, как судьбы всех. Но князь Андрей — сын своего отца, и ни в чем не проявятся эти его чувства; только взвизгнет несколько раз его голос, и опять «тонким, пискливым голосом», как у старого князя, он признается Пьеру: «Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал

понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла... Ну, да не надолго! – прибавил он».

Он почти насильно выставил Пьера от себя, но, прощаясь, «быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал.

— Прощай, ступай, – прокричал он. – Увидимся ли, нет... – и он, поспешно повернувшись, ушел в сарай».

Эта сцена до боли напоминает его собственное прощанье с отцом перед отъездом на войну 1805 года, когда старый князь сердитым, пронзительным голосом кричал сыну: «Простились... ступай!» И как старый князь тогда, оставшись один, вспомнил, может быть, своего сына ребенком, так сейчас князь Андрей вспомнил Наташу и все светлое, что было в его любви к ней, — и, «как будто кто-нибудь обжег его», он вспомнил Анатоля, который до сих пор «жив и весел».

Вот о чем спрашивал себя Пьер, проезжая мимо ополченцев и солдат: как они могут думать о чем-нибудь, кроме смерти? А они думают о жизни, пока живы, и князь Андрей думает о жизни — этим и сильны они все.

И вот наступает 26 августа — день Бородин. Вместе с Пьером мы видим очень красивое зрелище: пробивающееся сквозь туман яркое солнце, вспышки выстрелов, «молнии утреннего света» на штыках войск... Пьеру, как ребенку, «захотелось быть там, где были эти дымы, эти блестящие штыки и пушки, это движение, эти звуки». Он долго еще ничего не понимал: приехав на батарею Раевского, «никак не думал, что это... было самое важное место в сражении», не замечал раненых и убитых... В представлении Пьера война должна быть торжественной, а она оказалась не праздником, не парадом; для Толстого война — тяжелая, будничная и кровавая работа. Вместе с Пьером мы внезапно начинаем видеть это, вместе с ним ужасаемся тому, что видим.

Но и сам Пьер предстает перед нами в новом свете, когда прохаживается по батарее под выстрелами «так же спокойно, как по бульвару». Мы радуемся и гордимся, когда возникшее сначала на батарее «чувство недоброжелательного недоумения к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие»; вместе с солдатами батареи мы чувствуем душевную силу, возникшую и разгорающуюся в Пьере.

Солдаты удивляются, что Пьер не боится. Пьер, в свою очередь, удивляется: разве они боятся? «А то как же? – отвечал солдат. – Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, – сказал он, смеясь».

Так здесь, при Бородине, Толстой возвращается к тому, что показал при Шенграбене в маленьком капитане Тушине, чему научил Ростова долгим военным опытом: мужество — не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы делать свое дело, не слушаясь страха.

И вот наступает момент, когда «ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер». Заряды кончились — за ними побежал солдат и следом Пьер, а тем временем на батарею ворвались французы; Пьера едва не убило взорвавшимся ящиком со снарядами, и он, в ужасе побежав обратно на батарею, налетел прямо на француза в синем мундире. «Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною?» – думал каждый из них».

Зачем Толстому нужно так подчеркивать неразбериху, происходящую на войне? Конечно, Пьеру простительно не понимать, кто кого взял в плен, но ведь французский офицер тоже недоумевает!

Толстой стремился показать войну глазами ее участников, современников. Но иногда он все-таки смотрит на нее с расстояния полувека — не из 1812, а из 1862 года. Он видит и плохую организацию, и неудачные планы, и удачные планы, которые рушатся из-за плохой организации. Все это приводит его к мысли о ненужности планов и руководства вообще — с этой мыслью Толстого нам трудно согласиться.

Но, кроме того, у Толстого есть еще одна цель. В начале третьего тома он сказал, что война — «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Прошлой войне вообще не было оправданий, потому что вели ее императоры, а народам она не была нужна. В этой войне есть правда: когда враг приходит на твою землю, ты вынужден защищаться — это и делала русская армия. Но война не становится от этого праздником; она по-прежнему остается грязным, кровавым делом — и только на батарее Раевского Пьер понял это до конца. «Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» — думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.

Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и... гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил».

Там, где стрельба и канонада «усиливались до отчаянности», был князь Андрей. Полк его стоял в резервах под огнем артиллерии, «не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей», а многие были убиты раньше. Самое страшное, самое горькое было то, что люди бездействовали: «кто сухой глиной... начищал штык; кто разминал ремень... кто... переобувался. Некоторые строили домики... или плели плетеночки из соломы...» Люди стояли без дела — и их убивали.

Когда читаешь о том, как смертельно ранили князя Андрея, охватывает такой ужас, что забываешь вдуматься в подробности. А самое обидное, что его гибель представляется бессмысленной. Он не бросился вперед со знаменем, как при Аустерлице; он не был на батарее, как под Шенграбеном, — весь его военный опыт и ум уходили на то, чтобы, прохаживаясь по полю, считать шаги и прислушиваться к свисту снарядов.

Он видит войну не так, как Пьер, ему знаком каждый дымок, каждый звук: «Одна, другая! Еще! Попало...», «Нет, перенесло. А вот это попало».

В этом бесцельном хождении настигает его вражеское ядро. (Толстой называет его гранатой, но это именно ядро, а не то, что мы теперь называем гранатой.)

Стоявший рядом с князем Андреем адъютант лег и ему крикнул: «Ложись!» Князь Андрей стоял и думал о том, что не хочет умереть, и «вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.

— Стыдно, господин офицер! — сказал он адъютанту. — Какой... — он не договорил».

Что он хотел сказать? Какой пример вы подаете солдатам?! Значит, из-за этого умер от тяжелой раны князь Андрей Болконский — из-за того, что не лег на землю, как адъютант, а продолжал стоять, зная, что ядро взорвется. Неужели нужно было отдать эту прекрасную жизнь только для того, чтобы показать пример?

Он не мог иначе. Он, с его чувством чести, с его благородной доблестью, не мог лечь. Всегда находятся люди, которые не могут бежать, не могут молчать, не могут прятаться от опасности. Эти люди гибнут, но они — лучшие. И гибель их не бессмысленна: что-то она рождает в душах других людей, не определимое словами, но очень важное.

Князь Андрей еще не умер — жизнь еще пошлет ему встречу с Наташей. Но сейчас его несут к санитарной палатке, и там, потеряв сознание от мучительной боли и очнувшись, «в несчастном, рыдающем, обессиленном человеке, которому только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина». Столько месяцев князь Андрей гонялся за этим человеком — и вот он перед ним, но нет прежней ненависти: «восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце».

Потому ли все так изменилось, что князь Андрей — на грани смерти? Или потому, что на войне все оборачивается иначе, чем в мирной жизни? Или, как думает он сам, только теперь, когда уже поздно, открылась ему та терпеливая любовь к людям, которой учила его сестра! Никто не может ответить на эти вопросы, но когда впервые читаешь

«Войну и мир» и по этой книге узнаешь войну, только здесь, в санитарной палатке, начинаешь вполне разделять ненависть Толстого к безжалостной кровавой бойне.

А Наполеон в это время, *«желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом...»* сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы... Он с *болезненной тоской* ожидал конца того дела, которого считал себя причиной, но которого он не мог остановить».

Здесь впервые Толстой показывает его естественным. Накануне битвы он долго и с удовольствием занимался своим туалетом, затем принял приехавшего из Парижа придворного и разыграл небольшой спектакль перед портретом своего сына...

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.
Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын...

Трагедия отца, обреченного на разлуку с ребенком, была особенно понятна и близка Лермонтову, с детства оторванному от своего отца. Но и другие писатели жалели Наполеона, страстно любившего своего сына и потерявшего его. О горе императора было написано немало стихов, пьес, рассказов.

Толстой знает, что впереди — остров Святой Елены и вечная разлука с сыном, что сын умрет юным. Но он не жалеет Наполеона. Ему кажется напускной, фальшивой эта выставленная напоказ отцовская любовь. Толстому ближе сдержанные чувства; его оскорбляет то, что Наполеон любит портретом сына чуть ли не на глазах всей армии. Открытые проявления любви представляются ему недостойным спектаклем.

Для Толстого Наполеон — воплощение суетности, той самой, которую он ненавидит в князе Василии и Анне Павловне, той самой, какую считает худшим качеством человека. Настоящий человек, по мнению Толстого, не должен заботиться о впечатлении, которое он производит, а должен спокойно и величественно отдаться воле событий. Таким он рисует Кутузова.

«Кутузов сидел, понутив седую голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему».

Наполеону посвящены семь глав из двадцати, описывающих Бородинскую битву. Кутузову — только одна. Наполеон во всех этих главах напряженно-деятелен: он одевается, переодевается, принимает посланцев из Парижа и Мадрида, отдает распоряжения, диктует приказ по армии, дважды объезжает позицию, заботится о рисе, который должны выдать гвардейцам... В разгар сражения к нему «беспрестанно прискакивали... его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела». Он отдавал распоряжения — и все-таки чувствовал, что проигрывает ту игру, в которой всегда был удачлив.

Кутузов сидит на одном месте и как бы дремлет. Ему тоже привозят донесения, но он выслушивает их и не отдает никаких приказаний. «Поезжай... и подробно узнай, что и как», — говорит он адъютанту. «Съезди, голубчик... посмотри, нельзя ли что сделать», — просит Ермолова. Когда вокруг него начинают слишком уж ликовать, он, улыбаясь, говорит, что лучше подождать радоваться.

Но когда ему сообщают, что войска разбиты и бегут, Кутузов, нахмурившись, кричит: «Как вы... как вы смеете!..» — и снова кричит, задыхаясь, чуть не плача, крестясь: «Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской...»

Наполеон отказался завтракать и грубо выругался, когда ему осмелились вторично предложить подкрепиться. Кутузов в разгар событий «с трудом жевал жареную курицу» и едва не заснул на своей скамье, но он знал то, чего не знал Наполеон: «что решают участь

сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска», о которой еще вчера говорил Пьеру князь Андрей.

Эта сила, по мнению Толстого, определила нравственный исход сражения. Наполеон приказал направить двести орудий на русских — ему доложили, что приказ выполнен, «но что русские все так же стоят.

— Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят, — сказал адъютант».

Вот с этого момента и Наполеон, и вся его армия постепенно начали испытывать «чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв *половину* войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения».

Впервые Наполеону некогда думать о впечатлении, какое он производит. Желтый и опухший, с красным носом (накануне он простудился, и теперь его мучит насморк), он уже не заботился о том, что солдаты увидят его в таком непривлекательном виде. Пока ему сопутствовала удача, он не думал о вероятности поражения, о том, что сам он может быть убит или ранен. Он жил в фантастическом мире вечного успеха, и сам верил, что неуязвим, что его победы неизбежны. Теперь ему пришлось вернуться к действительности; пришлось понять, что в этой войне Кутузов превзошел его как полководец; им одержана «победа нравственная», потому что на французов «в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника».